

# Казачи

**Автор:**

Лев Толстой

Казачи

Лев Николаевич Толстой

Казачи

Кавказская повесть 1852 года

I

Все затихло в Москве. Редко, редко где слышится лязг колес по зимней улице. В окнах огней уже нет, и фонари потухли. От церквей разносятся звуки колоколов и, колыхаясь над спящим городом, поминают об утре. На улицах пусто. Редко где промесит узкими полозьями песок с снегом ночной извозчик и, перебравшись на другой угол, заснет, дожидаясь седока. Пройдет старушка в церковь, где уж, отражаясь на золотых окладах, красно и редко горят несимметрично расставленные восковые свечи. Рабочий народ уж поднимается после долгой зимней ночи и идет на работы.

А у господ еще вечер.

В одном из окон Шевалье из-под затворенной ставни противузаконно светится огонь. У подъезда стоят карета, сани и извозчики, стеснившись задками. Почтовая тройка стоит тут же. Дворник, закутавшись и съежившись, точно прячется за угол дома.

«И чего переливают из пустого в порожнее? – думает лакей, с осунувшимся лицом, сидя в передней. – И все на мое дежурство!» Из соседней светлой комнатки слышатся голоса трех ужинающих молодых людей. Они сидят в комнате около стола, на котором стоят остатки ужина и вина. Один, маленький, чистенький, худой и дурной, сидит и смотрит на отъезжающего добрыми, усталыми глазами. Другой, высокий, лежит подле уставленного пустыми бутылками стола и играет ключиком часов. Третий, в новеньком полушубке, ходит по комнате и, изредка останавливаясь, щелкает миндаль в довольно толстых и сильных, но с отчищенными ногтями пальцах, и все чему-то улыбается; глаза и лицо его горят. Он говорит с жаром и с жестами; но видно, что он не находит слов, и все слова, которые ему приходят, кажутся недостаточными, чтобы выразить все, что подступило ему к сердцу. Он беспрестанно улыбается.

– Теперь можно все сказать! – говорит отъезжающий. – Я не то что оправдываюсь, но мне бы хотелось, чтобы ты, по крайней мере, понял меня, как я себя понимаю, а не так, как пошлость смотрит на это дело. Ты говоришь, что я виноват перед ней, – обращается он к тому, который добрыми глазами смотрит на него.

– Да, виноват, – отвечает маленький и дурной, и кажется, что еще больше доброты и усталости выражается в его взгляде.

– Я знаю, отчего ты это говоришь, – продолжает отъезжающий. – Быть любимым, по-твоему, такое же счастье, как любить, и довольно на всю жизнь, если раз достиг его.

– Да, очень довольно, душа моя! Больше чем нужно, – подтверждает маленький и дурной, открывая и закрывая глаза.

– Но отчего ж не любить и самому! – говорит отъезжающий, задумывается и как будто с сожалением смотрит на приятеля. – Отчего не любить? Не любится. Нет, любимым быть – несчастье, несчастье, когда чувствуешь, что виноват, потому что не даешь того же и не можешь дать. Ах, боже мой! – Он махнул рукой. – Ведь если бы это все делалось разумно, а то навыворот, как-то не по-нашему, а по-своему все это делается. Ведь я как будто украл это чувство. И ты так думаешь; не отказывайся, ты должен это думать. А поверишь ли, из всех глупостей и гадостей, которых я много успел наделать в жизни, это одна, в которой я не раскаиваюсь и не могу раскаиваться. Ни сначала, ни после я не лгал ни перед

собой, ни перед нею. Мне казалось, что наконец-то вот я полюбил, а потом увидал, что это была невольная ложь, что так любить нельзя, и не мог идти далее; а она пошла. Разве я виноват в том, что не мог? Что же мне было делать?

– Ну, да теперь кончено! – сказал приятель, закуривая сигару, чтобы разогнать сон. – Одно только: ты еще не любил и не знаешь, что такое любить.

Тот, который был в полушубке, хотел опять сказать что-то и схватил себя за голову. Но не высказывалось то, что он хотел сказать.

– Не любил! Да, правда, не любил. Да есть же во мне желание любить, сильнее которого нельзя иметь желанья! Да опять, и есть ли такая любовь? Все остается что-то недоконченное. Ну, да что говорить! Напутал, напутал я себе в жизни. Но теперь все кончено, ты прав. И я чувствую, что начинается новая жизнь.

– В которой ты опять напутаешь, – сказал лежавший на диване и игравший ключиком часов; но отъезжающий не слышал его.

– Мне и грустно, и рад я, что еду, – продолжал он. – Отчего грустно? Я не знаю.

И отъезжающий стал говорить об одном себе, не замечая того, что другим не было это так интересно, как ему. Человек никогда не бывает таким эгоистом, как в минуту душевного восторга. Ему кажется, что нет на свете в эту минуту ничего прекраснее и интереснее его самого.

– Дмитрий Андреич, ямщик ждать не хочет! – сказал вошедший молодой дворовый человек в шубе и обвязанный шарфом. – С двенадцатого часа лошади, а теперь четыре.

Дмитрий Андреич посмотрел на своего Ванюшу. В его обвязанном шарфе, в его валяных сапогах, в его заспанном лице ему послышался голос другой жизни, призывавшей его, – жизни трудов, лишений, деятельности.

– И в самом деле, прощай! – сказал он, ища на себе незастегнутого крючка.

Несмотря на советы дать еще на водку ямщику, он надел шапку и стал посередине комнаты. Они расцеловались раз, два раза, остановились и потом

поцеловались третий раз. Тот, который был в полушубке, подошел к столу, выпил стоявший на столе бокал, взял за руку маленького и дурного и покраснел.

- Нет, все-таки скажу... Надо и можно быть откровенным с тобой, потому что я тебя люблю... Ты ведь любишь ее? Я всегда это думал... да?

- Да, - отвечал приятель, еще кротче улыбаясь.

- И может быть...

- Пожалуйте, свечи тушить приказано, - сказал заспанный лакей, слушавший последний разговор и соображавший, почему это господа всегда говорят все одно и то же. - Счет за кем записать прикажете? За вами-с? - прибавил он, обращаясь к высокому, вперед зная, к кому обратиться.

- За мной, - сказал высокий. - Сколько?

- Двадцать шесть рублей.

Высокий задумался на мгновение, но ничего не сказал и положил счет в карман.

А у двух разговаривающих шло свое.

- Прощай, ты отличный малый! - сказал господин маленький и дурной с кроткими глазами.

Слезы навернулись на глаза обоим. Они вышли на крыльцо.

- Ах, да! - сказал отъезжающий, краснея и обращаясь к высокому. - Счет Шевалье ты устроишь, и тогда напиши мне.

- Хорошо, хорошо, - сказал высокий, надевая перчатки. - Как я тебе завидую! - прибавил он совершенно неожиданно, когда они вышли на крыльцо.

Отъезжающий сел в сани, закутался в шубу и сказал: «Ну что ж! поедem», - и даже подвинулся в санях, чтобы дать место тому, который сказал, что ему

завидует; голос его дрожал.

Провожавший сказал: «Прощай, Митя, дай тебе бог...» Он ничего не желал, кроме только того, чтобы тот уехал поскорее, и потому не мог договорить, чего он желал.

Они помолчали. Еще раз сказал кто-то: «Прощай». Кто-то сказал: «Пошел!» И ямщик тронул.

– Елизар, подавай! – крикнул один из провожавших.

Извозчики и кучер зашевелились, зачмокали и задергали вожжами. Замерзшая карета завизжала по снегу.

– Славный малый этот Оленин, – сказал один из провожавших. – Но что за охота ехать на Кавказ и юнкером? Я бы полтинника не взял. Ты будешь завтра обедать в клубе?

– Буду.

И провожавшие разъехались.

Отъезжавшему казалось тепло, жарко от шубы. Он сел на дно саней, распахнул, и ямская взъерошенная тройка потащилась из темной улицы в улицу мимо каких-то не виданных им домов. Оленину казалось, что только отъезжающие ездят по этим улицам. Кругом было темно, безмолвно, уныло, а в душе было так полно воспоминаний, любви, сожаления и приятных давивших слез...

II

«Люблю! Очень люблю! Славные! Хорошо!» – твердил он, и ему хотелось плакать. Но отчего ему хотелось плакать? Кто были славные? Кого он очень любил? Он не знал хорошенько. Иногда он вглядывался в какой-нибудь дом и удивлялся, зачем он так странно выстроен; иногда удивлялся, зачем ямщик и

Ванюша, которые так чужды ему, находятся так близко от него и вместе с ним трясутся и покачиваются от порыва пристяжных, натягивающих мерзлые постромки, и снова говорил: «Славные, люблю», – и раз даже сказал: «Как хватит! Отлично!» И сам удивился, к чему он это сказал, и спросил себя: «Уж не пьян ли я?» Правда, он выпил на свою долю бутылки две вина, но не одно вино производило это действие на Оленина. Ему вспоминались все задушевные, как ему казалось, слова дружбы, стыдливо, как будто нечаянно, высказанные ему перед отъездом. Вспоминались пожатия рук, взгляды, молчания, звук голоса, сказавшего: прощай, Митя! – когда он уже сидел в санях. Вспоминалась своя собственная решительная откровенность. И все это для него имело трогательное значение. Перед отъездом не только друзья, родные, не только равнодушные, но несимпатичные, недоброжелательные люди, все как будто вдруг сговорились сильнее полюбить его, простить, как пред исповедью или смертью. «Может быть, мне не вернуться с Кавказа», – думал он. И ему казалось, что он любит своих друзей и еще любит кого-то. И ему было жалко себя. Но не любовь к друзьям так размягчила и подняла его душу, что он не удерживал бессмысленных слов, которые говорились сами собой, и не любовь к женщине (он никогда еще не любил) привела его в это состояние. Любовь к самому себе, горячая, полная надежд, молодая любовь ко всему, что только было хорошего в его душе (а ему казалось теперь, что только одно хорошее было в нем), заставляла его плакать и бормотать несвязные слова.

Оленин был юноша, нигде не кончивший курса, нигде не служивший (только числившийся в каком-то присутственном месте), промотавший половину своего состояния и до двадцати четырех лет не избравший еще себе никакой карьеры и никогда ничего не делавший. Он был то, что называется «молодой человек» в московском обществе.

В восемнадцать лет Оленин был так свободен, как только бывали свободны русские богатые молодые люди сороковых годов, с молодых лет оставшиеся без родителей. Для него не было никаких ни физических, ни моральных оков; он все мог сделать, и ничего ему не нужно было, и ничто его не связывало. У него не было ни семьи, ни отечества, ни веры, ни нужды. Он ни во что не верил и ничего не признавал. Но, не признавая ничего, он не только не был мрачным, скучающим и резонирующим юношей, а, напротив, увлекался постоянно. Он решил, что любви нет, и всякий раз присутствие молодой и красивой женщины заставляло его замирать. Он давно знал, что почести и звание – вздор, но чувствовал невольное удовольствие, когда на бале подходил к нему князь Сергей и говорил ласковые речи. Но отдавался он всем своим увлечениям лишь настолько, насколько они не связывали его. Как только, отдавшись одному

стремлению, он начинал чутя приближение труда и борьбы, мелочной борьбы с жизнью, он инстинктивно торопился оторваться от чувства или дела и восстановить свою свободу. Так он начинал светскую жизнь, службу, хозяйство, музыку, которой одно время думал посвятить себя, и даже любовь к женщинам, в которую он не верил. Он раздумывал над тем, куда положить всю эту силу молодости, только раз в жизни бывающую в человеке, – на искусство ли, на науку ли, на любовь ли к женщине, или на практическую деятельность, – не силу ума, сердца, образования, а тот неповторяющийся порыв, ту на один раз данную человеку власть сделать из себя все, что он хочет, и как ему кажется, и из всего мира все, что ему хочется. Правда, бывают люди, лишённые этого порыва, которые, сразу входя в жизнь, надевают на себя первый попавшийся хомут и честно работают в нем до конца жизни. Но Оленин слишком сильно сознавал в себе присутствие этого всемогущего бога молодости, эту способность превратиться в одно желание, в одну мысль, способность захотеть и сделать, способность броситься головой вниз в бездонную пропасть, не зная за что, не зная зачем. Он носил в себе это сознание, был горд им и, сам не зная этого, был счастлив им. Он любил до сих пор только себя одного и не мог не любить, потому что ждал от себя одного хорошего и не успел еще разочароваться в самом себе. Уезжая из Москвы, он находился в том счастливом, молодом настроении духа, когда, сознав прежние ошибки, юноша вдруг скажет себе, что все это было не то, что все прежнее было случайно и незначительно, что он прежде не хотел жить хорошенько, но что теперь, с выездом его из Москвы, начинается новая жизнь, в которой уже не будет больше тех ошибок, не будет раскаяния, а наверное будет одно счастье.

Как всегда бывает в дальней дороге, на первых двух-трех станциях воображение остается в том месте, откуда едешь, и потом вдруг, с первым утром, встреченным в дороге, переносится к цели путешествия и там уже строит замки будущего. Так случилось и с Лениным.

Выехав за город и оглядев снежные поля, он порадовался тому, что он один среди этих полей, завернулся в шубу, опустил на дно саней, успокоился и задремал. Прощанье с приятелями растрогало его, и ему стала вспоминаться вся последняя зима, проведенная им в Москве, и образы этого прошедшего, перебиваемые неясными мыслями и упреками, стали непрошено возникать в его воображении.

Ему вспомнился этот провожавший его приятель и его отношения к девушке, о которой они говорили. Девушка эта была богата. «Каким образом он мог любить

ее, несмотря на то, что она меня любила?» – думал он, и нехорошие подозрения пришли ему в голову. «Много есть нечестности в людях, как подумаешь. А отчего же я еще не любил в самом деле? – представился ему вопрос. – Все говорят мне, что я не любил. Неужели я нравственный урод?» И он стал вспоминать свои увлечения. Вспомнил он первое время своей светской жизни и сестру одного из своих приятелей, с которой он проводил вечера за столом при лампе, освещавшей ее тонкие пальцы за работой и низ красивого тонкого лица, и вспомнились ему эти разговоры, тянувшиеся как «жив-жив курилка», и общую неловкость, и стеснение, и постоянное чувство возмущения против этой натянутости. Какой-то голос все говорил: не то, не то, и точно вышло не то. Потом вспомнился ему бал и мазурка с красивою Д. «Как я был влюблен в эту ночь, как был счастлив! И как мне больно и досадно было, когда я на другой день утром проснулся и почувствовал, что я свободен! Что же она, любовь, не приходит, не вяжет меня по рукам и по ногам? – думал он. – Нет, нет любви! Соседка барыня, говорившая одинаково мне, и Дубровину, и предводителю, что любит звезды, была также не то». И вот ему вспоминается его хозяйственная деятельность в деревне, и опять не на чем с радостью остановиться в этих воспоминаниях. „Долго они будут говорить о моем отъезде?“ – приходит ему в голову. Но кто это они? – он не знает, и вслед за этим приходит ему мысль, заставляющая его морщиться и произносить неясные звуки: это воспоминание о мосье Капеле и шестистах семидесяти восьми рублями, которые он остался должен портному, – и он вспоминает слова, которыми он упрашивал портного подождать еще год, и выражение недоумения и покорности судьбе, появившееся на лице портного. „Ах, боже мой, боже мой!“ – повторяет он, щурясь и стараясь отогнать несносную мысль. „Однако она меня, несмотря на то, любила, – думает он о девушке, про которую шла речь при прощанье. – Да, коли я бы на ней женился, у меня бы не было долгов, а теперь я остался должен Васильеву“. И представляется ему последний вечер игры с г. Васильевым в клубе, куда он поехал прямо от нее, и вспоминаются униженные просьбы играть еще и его холодные отказы. „Год экономии, и все это будет заплачено, и черт их возьми...“ Но несмотря на эту уверенность, он снова начинает считать оставшиеся долги, их сроки и предполагаемое время уплаты. „А ведь я еще остался должен Морелю, кроме Шевалье“, – вспоминалось ему; и представляется вся ночь, в которой он ему задолжал столько. Это была попойка с цыганами, которую затеяли приезжие из Петербурга: Сашка Б\*\*\*, флигель-адъютант, и князь Д\*\*\*, и этот важный старик... «И почему они так довольны собой, эти господа, – подумал он, – и на каком основании составляют они особый кружок, в котором, по их мнению, другим очень лестно участвовать. Неужели за то, что они флигель-адъютанты? Ведь это ужасно, какими глупыми и подлыми они считают других! Я показал им, напротив, что нисколько не желаю сближаться с

ними. Однако, я думаю, Андрей-управляющий очень был бы озадачен, что я на ты с таким господином, как Сашка Б\*\*\*, полковником и флигель-адъютантом... Да и никто не выпил больше меня в этот вечер; я выучил цыган новой песне, и все слушали. Хоть и много глупостей я делал, а все-таки я очень, очень хороший молодой человек», – думает он.

Утро застало Оленина на третьей станции. Он напился чаю, переложил с Ванюшей сам узлы и чемоданы и уселся между ними благоразумно, прямо и аккуратно, зная, где что у него находится, – где деньги и сколько их, где вид и подорожная и шоссейная расписка, – и все это ему показалось так практично устроено, что стало весело, и дальняя дорога представилась в виде продолжительной прогулки.

В продолжение утра и середины дня он весь был погружен в арифметические расчеты: сколько он проехал верст, сколько остается до первой станции, сколько до первого города, до обеда, до чая, до Ставрополя и какую часть всей дороги составляет проеханное. При этом он рассчитывал тоже: сколько у него денег, сколько останется, сколько нужно для уплаты всех долгов и какую часть всего дохода будет он проживать в месяц. К вечеру, напившись чаю, он рассчитывал, что до Ставрополя оставалось  $7/11$  всей дороги, долгов оставалось всего на семь месяцев экономии и на  $1/8$  всего состояния, – и, успокоившись, он укутался, спустился в сани и снова задремал. Воображение его теперь уже было в будущем, на Кавказе. Все мечты о будущем соединялись с образами Амалатбеков, черкешенок, гор, обрывов, страшных потоков и опасностей. Все это представляется смутно, неясно; но слава, заманивая, и смерть, угрожая, составляют интерес этого будущего. То с необычайною храбростию и удивляющею всех силой он убивает и покоряет бесчисленное множество горцев; то он сам горец и с ними вместе отстаивает против русских свою независимость. Как только представляются подробности, то в подробностях этих участвуют старые московские лица. Сашка Б\*\*\* тут вместе с русскими или с горцами воюет против него. Даже, неизвестно как, портной мосье Капель принимает участие в торжестве победителя. Ежели при этом вспоминаются старые унижения, слабости, ошибки, то воспоминание о них только приятно. Ясно, что там, среди гор, потоков, черкешенок и опасностей, эти ошибки не могут повториться. Уж раз исповедался в них перед самим собою, и кончено. Есть еще одна, самая дорогая мечта, которая примешивалась ко всякой мысли молодого человека о будущем. Это мечта о женщине. И там она, между гор, представляется воображению в виде черкешенки-рабыни, с стройным станом, длинною косой и покорными глубокими глазами. Ему представляется в горах уединенная хижина и у порога она, дожидаящаяся его в то время, как он, усталый, покрытый пылью,

кровью, славой, возвращается к ней, и ему чудятся ее поцелуи, ее плечи, ее сладкий голос, ее покорность. Она прелестна, но она необразованна, дика, груба. В длинные зимние вечера он начинает воспитывать ее. Она умна, понятлива, даровита и быстро усваивает себе все необходимые знания. Отчего же? Она очень легко может выучить языки, читать произведения французской литературы, понимать их. «Notre Dame de Paris», [1 - «Собор Парижской богородицы» (франц.)] например, должно ей понравиться. Она может и говорить по-французски. В гостиной она может иметь больше природного достоинства, чем дама самого высшего общества. Она может петь, просто, сильно и страстно. «Ах, какой вздор!» – говорит он сам себе. А тут приехали на какую-то станцию и надо перелезть из саней в сани и давать на водку. Но он снова ищет воображением того вздора, который он оставил, и ему представляются опять черкешенки, слава, возвращение в Россию, флигель-адъютантство, прелестная жена. «Но ведь любви нет, – говорит он сам себе. – Почести – вздор. А шестьсот семьдесят восемь рублей?.. А завоеванный край, давший мне больше богатства, чем мне нужно на всю жизнь? Впрочем, нехорошо будет одному воспользоваться этим богатством. Нужно раздать его. Кому только? Шестьсот семьдесят восемь рублей Капелю, а там видно будет...» И уже совсем смутные видения застилают мысль, и только голос Ванюши и чувство прекращенного движения нарушают здоровый, молодой сон, и, сам не помня, перелезает он в другие сани на новой станции и едет далее.

На другое утро то же самое – те же станции, те же чаи, те же движущиеся крупы лошадей, те же короткие разговоры с Ванюшей, те же неясные мечты и дремоты по вечерам, и усталый, здоровый, молодой сон в продолжение ночи.

### III

Чем дальше уезжал Оленин от центра России, тем дальше казались от него все его воспоминания, и чем ближе подъезжал к Кавказу, тем отраднее становилось ему на душе. «Уехать совсем и никогда не приезжать назад, не показываться в общество, – приходило ему иногда в голову. – А эти люди, которых я здесь вижу, – не люди, никто из них меня не знает и никто никогда не может быть в Москве в том обществе, где я был, и узнать о моем прошлом. И никто из того общества не узнает, что я делал, живя между этими людьми». И совершенно новое для него чувство свободы от всего прошедшего охватывало его между этими грубыми существами, которых он встречал по дороге и которых не

признавал людьми наравне с своими московскими знакомыми. Чем грубее был народ, чем меньше было признаков цивилизации, тем свободнее он чувствовал себя. Ставрополь, чрез который он должен был проезжать, огорчил его. Вывески, даже французские вывески, дамы в коляске, извозчики, стоявшие на площади, бульвар и господин в шинели и шляпе, проходивший по бульвару и оглядевший проезжего, – больно подействовали на него. «Может быть, эти люди знают кого-нибудь из моих знакомых», – и ему опять вспомнились клуб, портной, карты, свет... От Ставрополя зато все уже пошло удовлетворительно: дико и сверх того красиво и воинственно. И Ленину все становилось веселее и веселее. Все казаки, ямщики, смотрителя казались ему простыми существами, с которыми ему можно было просто шутить, беседовать, не соображая, кто к какому разряду принадлежит. Все принадлежали к роду человеческого, который был весь бессознательно мил Ленину, и все дружелюбно относились к нему.

Еще в Земле Войска Донского переменили сани на телегу; а за Ставрополем уже стало так тепло, что Ленин ехал без шубы. Была уже весна – неожиданная, веселая весна для Ленина. Ночью уже не пускали из станиц и вечером говорили, что опасно. Ванюша стал потрушивать, и ружье заряженное лежало на перекладной. Ленин стал еще веселее. На одной станции смотритель рассказал недавно случившееся страшное убийство на дороге. Стали встречаться вооруженные люди. «Вот оно где начинается!» – говорил себе Ленин и все ждал вида снеговых гор, про которые много говорили ему. Один раз, перед вечером, ногаец-ямщик плетью указал из-за туч на горы. Ленин с жадностью стал вглядываться, но было пасмурно и облака до половины застилали горы. Ленину виднелось что-то серое, белое, курчавое, и, как он ни старался, он не мог найти ничего хорошего в виде гор, про которые он столько читал и слышал. Он подумал, что горы и облака имеют совершенно одинаковый вид и что особенная красота снеговых гор, о которых ему толковали, есть такая же выдумка, как музыка Баха и любовь к женщине, в которые он не верил, – и он перестал дожидаться гор. Но на другой день, рано утром, он проснулся от свежести в своей перекладной и равнодушно взглянул направо. Утро было совершенно ясное. Вдруг он увидел, шагах в двадцати от себя, как ему показалось в первую минуту, чисто-белые громады с их нежными очертаниями и причудливую, отчетливую воздушную линию их вершин и далекого неба. И когда он понял всю даль между им и горами и небом, всю громадность гор, и когда почувствовалась ему вся бесконечность этой красоты, он испугался, что это призрак, сон. Он встряхнулся, чтобы проснуться. Горы были все те же.

– Что это? Что это такое? – спросил он у ямщика.

– А горы, – отвечал равнодушно ногаец.

– И я тоже давно на них смотрю, – сказал Ванюша, – вот хорошо-то! Дома не поверят.

На быстром движении тройки по ровной дороге горы, казалось, бежали по горизонту, блестя на восходящем солнце своими розоватыми вершинами. Сначала горы только удивили Оленина, потом обрадовали; но потом, больше и больше вглядываясь в эту, не из других черных гор, но прямо из степи вырастающую и убегающую цепь снеговых гор, он мало-помалу начал вникать в эту красоту и почувствовал горы. С этой минуты все, что только он видел, все, что он думал, все, что он чувствовал, получало для него новый, строго величавый характер гор. Все московские воспоминания, стыд и раскаяние, все пошлые мечты о Кавказе, все исчезли и не возвращались более. «Теперь началось», – как будто сказал ему какой-то торжественный голос. И дорога, и вдали видневшаяся черта Терека, и станицы, и народ – все это ему казалось теперь уже не шуткой. Взглянет на небо – и вспомнит горы. Взглянет на себя, на Ванюшу – и опять горы. Вот едут два казака верхом, и ружья в чехлах равномерно поматываются у них за спинами, и лошади их перемешиваются гнедыми и серыми ногами; а горы... За Терекон виден дым в ауле; а горы... Солнце всходит и блещет на виднеющемся из-за камыша Терекон; а горы... Из станицы едет арба, женщины ходят красивые, женщины молодые; а горы... Абреки рыскают в степи, и я еду, их не боюсь, у меня ружье, и сила, и молодость; а горы...

#### IV

Вся часть Терской линии, по которой расположены гребенские станицы, около восьмидесяти верст длины, носит на себе одинаковый характер и по местности, и по населению. Терек, отделяющий казаков от горцев, течет мутно и быстро, но уже широко и спокойно, постоянно нанося сероватый песок на низкий, заросший камышом правый берег и подмывая обрывистый, хотя и не высокий левый берег с его корнями столетних дубов, гниющих чинар и молодого подростка. По правому берегу расположены мирные, но еще беспокойные аулы; вдоль по левому берегу, в полуверсте от воды, на расстоянии семи и восьми верст одна от другой, расположены станицы. В старину большая часть этих станиц были на

самом берегу; но Терек, каждый год отклоняясь к северу от гор, подмыл их, и теперь видны только густо заросшие старые городища, сады, груши, лычи и раины, переплетенные ежевичником и одичавшим виноградником. Никто уже не живет там, и только видны по песку следы оленей, бирюков,[2 - Волков. (Прим. Л.Н. Толстого.)] зайцев и фазанов, полюбивших эти места. От станицы до станицы идет дорога, прорубленная в лесу на пушечный выстрел. По дороге расположены кордоны, в которых стоят казаки; между кордонами, на вышках, находятся часовые. Только узкая, саженой в триста, полоса лесистой плодородной земли составляет владения казаков. На север от них начинаются песчаные буруны Ногайской, или Моздокской, степи, идущей далеко на север и сливающейся бог знает где с Трухменскими, Астраханскими и Киргиз-Кайсацкими степями. На юг за Тереком – Большая Чечня, Кочкалыковский хребет, Черные горы, еще какой-то хребет и, наконец, снежные горы, которые только видны, но в которых никто никогда еще не был. На этой-то плодородной, лесистой и богатой растительностью полосе живет с незапамятных времен воинственное, красивое и богатое староверческое русское население, называемое гребенскими казаками.

Очень, очень давно предки их, староверы, бежали из России и поселились за Тереком, между чеченцами на Гребне, первом хребте лесистых гор Большой Чечни. Живя между чеченцами, казаки перероднились с ними и усвоили себе обычаи, образ жизни и нравы горцев; но удержали и там во всей прежней чистоте русский язык и старую веру. Предание, еще до сих пор свежее между казаками, говорит, что царь Иван Грозный приезжал на Терек, вызывал с Гребня к своему лицу стариков, дарил им землю по сю сторону реки, увещевал жить в дружбе и обещал не принуждать их ни к подданству, ни к перемене веры. Еще до сих пор казацкие роды считаются родством с чеченскими, и любовь к свободе, праздности, грабежу и войне составляет главные черты их характера. Влияние России выражается только с невыгодной стороны: стеснением в выборах, снятием колоколов и войсками, которые стоят и проходят там. Казак, по влечению, менее ненавидит джигита-горца, который убил его брата, чем солдата, который стоит у него, чтобы защищать его станицу, но который закурил табаком его хату. Он уважает врага-горца, но презирает чужого для него и угнетателя солдата. Собственно, русский мужик для казака есть какое-то чуждое, дикое и презренное существо, которого образчик он видал в заходящих торгашах и переселенцах-малороссиянах, которых казаки презрительно называют шаповалами. Щегольство в одежде состоит в подражании черкесу. Лучшее оружие добывается от горца, лучшие лошади покупаются и крадутся у них же. Молодец казак щеголяет знанием татарского языка и, разгулявшись, даже с своим братом говорит по-татарски. Несмотря на то, этот христианский

народец, закинутый в уголок земли, окруженный полудикими магометанскими племенами и солдатами, считает себя на высокой степени развития и признает человеком только одного казака; на все же остальное смотрит с презрением. Казак большую часть времени проводит на кордонах, в походах, на охоте или рыбной ловле. Он почти никогда не работает дома. Пребывание его в станице есть исключение из правила – праздник, и тогда он гуляет. Вино у казаков у всех свое, и пьянство есть не столько общая всем склонность, сколько обряд, неисполнение которого сочлось бы за отступничество. На женщину казак смотрит как на орудие своего благосостояния; девке только позволяет гулять, бабу же заставляет с молодости и до глубокой старости работать для себя и смотрит на женщину с восточным требованием покорности и труда. Вследствие такого взгляда женщина, усиленно развиваясь и физически, и нравственно, хотя и покоряясь наружно, получает, как вообще на Востоке, без сравнения большее, чем на Западе, влияние и вес в домашнем быту. Удаление ее от общественной жизни и привычка к мужской тяжелой работе дают ей тем больший вес и силу в домашнем быту. Казак, который при посторонних считает неприличным ласково или праздно говорить с своею бабой, невольно чувствует ее превосходство, оставаясь с ней с глазу на глаз. Весь дом, все имущество, все хозяйство приобретено ею и держится только ее трудами и заботами. Хотя он и твердо убежден, что труд постыден для казака и приличен только работнику-ногайцу и женщине, он смутно чувствует, что все, чем он пользуется и называет своим, есть произведение этого труда и что во власти женщины, матери или жены, которую он считает своею холопкой, лишит его всего, чем он пользуется. Кроме того, постоянный мужской, тяжелый труд и заботы, переданные ей на руки, дали особенно самостоятельный, мужественный характер гребенской женщине и поразительно развили в ней физическую силу, здравый смысл, решительность и стойкость характера. Женщины большею частью и сильнее, и умнее, и развитее, и красивее казаков. Красота гребенской женщины особенно поразительна соединением самого чистого типа черкесского лица с широким и могучим сложением северной женщины. Казачки носят одежду черкесскую: татарскую рубаху, бешмет и чувяки; но платки завязывают по-русски. Щегольство, чистота и изящество в одежде и убранстве хат составляют привычку и необходимость их жизни. В отношениях к мужчинам женщины, и особенно девки, пользуются совершенною свободой. Станица Новомлинская считалась корнем гребенского казачества. В ней, более чем в других, сохранились нравы старых гребенцов, и женщины этой станицы исстари славились своею красотой по всему Кавказу. Средства жизни казаков составляют виноградные и фруктовые сады, бахчи с арбузами и тыквами, рыбная ловля, охота, посевы кукурузы и проса и военная добыча.

Новомлинская станица стоит в трех верстах от Терека, отделяясь от него густым лесом. С одной стороны дороги, проходящей через станицу, – река; с другой – зеленеют виноградные, фруктовые сады и виднеются песчаные буруны (наносные пески) Ногайской степи. Станица обнесена земляным валом и колючим терновником. Выезжают из станицы и въезжают в нее высокими на столбах воротами с небольшою, крытою камышом крышкой, около которых стоит на деревянном лафете пушка, уродливая, сто лет не стрелявшая, когда-то отбитая казаками. Казак в форме, в шашке и ружье, иногда стоит, иногда не стоит на часах у ворот, иногда делает, иногда не делает фрунт проходящему офицеру. Под крышкой ворот на белой дощечке черною краской написано: домов 266, мужского пола душ 897, женского пола 1012. Дома казаков все подняты на столбах от земли на аршин и более, опрятно покрыты камышом, с высокими князьками. Все ежели не новы, то прямы, чисты, с разнообразными высокими крылечками и не прилеплены друг к другу, а просторно и живописно расположены широкими улицами и переулками. Перед светлыми большими окнами многих домов, за огородами, поднимаются выше хат темно-зеленые раины, нежные светлолиственные акации с белыми душистыми цветами, и тут же нагло блестящие желтые подсолнухи и вьющиеся лозы травянок и винограда. На широкой площади виднеются три лавочки с красным товаром, семечком, стручками и пряниками; и за высокой оградой, из-за ряда старых раин, виднеется, длиннее и выше всех других, дом полкового командира со створчатыми окнами. Народа, особенно летом, всегда мало виднеется в будни по улицам станицы. Казаки на службе: на кордонах и в походе; старики на охоте, рыбной ловле или с бабами на работе в садах и огородах. Только совсем старые, малые и больные остаются дома.

V

Был тот особенный вечер, какой бывает только на Кавказе. Солнце зашло за горы, но было еще светло. Заря охватила треть неба, и на свете зари резко отделялись бело-матовые громады гор. Воздух был редок, неподвижен и звучен. Длинная, в несколько верст, тень ложилась от гор на степи. В степи, за рекой, по дорогам – везде было пусто. Ежели редко-редко где покажутся верховые, то уже казаки с кордона и чеченцы из аула с удивлением и любопытством смотрят на верховых и стараются догадаться, кто могут быть эти недобрые люди. Как вечер, так люди из страха друг перед другом жмутся к жильям, и только зверь и птица, не боясь человека, свободно рыщут по этой пустыне. Из садов спешат с

веселым говором до захождения солнца казачки, привязывавшие плети. И в садах становится пусто, как и во всей окрестности; но станица в эту пору вечера особенно оживляется. Со всех сторон подвигается пешком, верхом и на скрипучих арбах народ к станице. Девки в подоткнутых рубахах, с хворостинами, весело болтая, бегут к воротам навстречу скотине, которая толпится в облаке пыли и комаров, приведенных ею за собой из степи. Сытые коровы и буйволицы разбредаются по улицам, и казачки в цветных бешметах снуют между ними. Слышен их резкий говор, веселый смех и визги, перебиваемые ревом скотины. Там казак в оружии, верхом, выпросившийся с кордона, подъезжает к хате и, перегибаясь к окну, постукивает в него, и вслед за стуком показывается красивая молодая голова казачки и слышатся улыбающиеся, ласковые речи. Там скуластый оборванный работник-ногаец, приехав с камышом из степи, поворачивает скрипящую арбу на чистом широком дворе есаула, и скидает ярмо с мотающих головами быков, и перекликается по-татарски с хозяином. Около лужи, занимающей почти всю улицу и мимо которой столько лет проходят люди, с трудом лепясь по заборам, пробирается босая казачка с вязанкой дров за спиной, высоко поднимая рубаху над белыми ногами, и возвращающийся казак-охотник, шутя, кричит: «Выше подними, срамница», – и целится в нее, и казачка опускает рубаху и роняет дрова. Старик казак с засученными штанами и раскрытою седою грудью, возвращаясь с рыбной ловли, несет через плечо в сапетке[3 - Наметке. (Прим. Л.Н. Толстого.)] еще бьющихся серебристых шамаек и, чтоб ближе пройти, лезет через проломанный забор соседа и отдирает от забора зацепившийся зипун. Там баба тащит сухой сук, и слышатся удары топора за углом. Визжат казачата, гоняющие кубари на улицах везде, где вышло ровное место. Через заборы, чтобы не обходить, перелезают бабы. Из всех труб поднимается душистый дым кизяка. На каждом дворе слышится усиленная хлопотня, предшествующая тишине ночи.

Бабука Улитка, жена хорунжего и школьного учителя, так же как и другие, вышла к воротам своего двора и ожидает скотину, которую по улице гонит ее девка Марьянка. Она не успела еще отворить плетня, как громадная буйволица, провожаемая комарами, мыча, проламывается сквозь ворота; за ней медленно идут сытые коровы, большими глазами признавая хозяйку и хвостом мерно хлеща себя по бокам. Стройная красавица Марьянка проходит в ворота и, бросая хворостину, закидывает плетень и со всех резвых ног бросается разбивать и загонять на дворе скотину. «Разуйся, чертова девка, – кричит мать, – чувяки-то[4 - Чувяки – обувь. (Прим. Л.Н. Толстого.)] все истоптала». Марьяна нисколько не оскорбляется названием чертовой девки и принимает эти слова за ласку и весело продолжает свое дело. Лицо Марьяны закрыто обвязанным платком; на ней розовая рубаха и зеленый бешмет. Она скрывается под навесом двора вслед

за жирною крупною скотиной, и только слышится из клетки ее голос, нежно уговаривающий буйволицу: «Не постоит! Эка ты! Ну тебя, ну, матушка!..» Вскоре приходит девка с старухой из закуты в избушку,[5 - Избушкой у казаков называется низенький холодный срубец, где кипятится и сберегается молочный скоп. (Прим. Л.Н. Толстого.)] и обе несут два большие горшка молока – подой нынешнего дня. Из глиняной трубы избушки скоро поднимается дым кизяка, молоко переделывается в каймак; девка разжигает огонь, а старуха выходит к воротам. Сумерки охватили уже станицу. По всему воздуху разлит запах овоща, скотины и душистого дыма кизяка. У ворот и по улицам везде перебегают казачки, несущие в руках зажженные тряпки. На дворе слышно пыхтенье и спокойная жвачка опроставшейся скотины, и только женские и детские голоса перекликаются по дворам и улицам. В будни редко когда слышится мужской пьяный голос.

Одна из казачек, старая, высокая, мужественная женщина, с противоположного двора, подходит к бабуке Улитке просить огня; в руке у нее тряпка.

– Что, бабука, убрались? – говорит она.

– Девка топит. Аль огоньку надо? – говорит бабука Улитка, гордая тем, что может услужить.

Обе казачки идут в хату; грубые руки, не привыкшие к мелким предметам, с дрожанием сдирают крышку с драгоценной коробочки со спичками, которые составляют редкость на Кавказе. Пришедшая мужественная казачка садится на приступок с очевидным намерением поболтать.

– Что твой-то, мать, в школе? – спрашивает пришедшая.

– Все ребят учит, мать. Писал, к празднику будет, – говорит хорунжиха.

– Человек умный ведь; в пользу все.

– Известно, в пользу.

– А мой Лукаша на кордоне, а домой не пускают, – говорит пришедшая, несмотря на то, что хорунжиха давно это знает. Ей нужно поговорить про своего Лукашу,

которого она только собрала в казаки и которого она хочет женить на Марьяне, хорунжевой дочери.

- На кордоне и стоит?

- Стоит, мать. С праздника не бывал. Намедни с Фомушкиным рубахи послала. Говорит: ничего, начальство одобряет. У них, баит, опять абреков ищут. Лукаша, говорит, весел, ничего.

- Ну и слава богу, - говорит хорунжиха. - Урван - одно слово.

Лукашка прозван Урваном за молодечество, за то, что казачонка вытащил из воды, урвал. И хорунжиха помянула про это, чтобы с своей стороны сказать приятное Лукашкиной матери.

- Благодарю бога, мать, сын хороший, молодец, все одобряют, - говорит Лукашкина мать, - только бы женить его, и померла бы спокойно.

- Что ж, девок мало ли по станице? - отвечает хитрая хорунжиха, корявыми руками старательно надевая крышку на коробочку со спичками.

- Много, мать, много, - замечает Лукашкина мать и качает головой, - твоя девка, Марьянушка-то, твоя вот девка, так по полку поискать.

Хорунжиха знает намерение Лукашкиной матери, и хотя Лукашка ей кажется хорошим казаком, она отклоняется от этого разговора, во-первых, потому, что она - хорунжиха и богачка, а Лукашка - сын простого казака, сирота. Во-вторых, потому, что не хочется ей скоро расстаться с дочерью. Главное же потому, что приличие того требует.

- Что ж, Марьянушка подрастет, также девка будет, - говорит она сдержанно и скромно.

- Пришлю сватов, пришлю, дай сады уберем, твоей милости кланяться придем, - говорит Лукашкина мать. - Илье Васильевичу кланяться придем.

– Что Иляс! – гордо говорит хорунжиха, – со мной говорить надо. На все свое время.

Лукашкина мать по строгому лицу хорунжихи видит, что дальше говорить неудобно, зажигает спичкой тряпку и, приподнимаясь, говорит:

– Не оставь, мать, попомни эти слова. Пойду, топить надо, – прибавляет она.

Переходя через улицу и размахивая в вытянутой руке зажженную тряпку, она встречает Марьянку, которая кланяется ей.

«Краля девка, работница девка, – думает она, глядя на красавицу. – Куда ей расти! Замуж пора, да в хороший дом, замуж за Лукашку».

У бабуки же Улитки своя забота, и она как сидела на пороге, так и остается, и о чем-то трудно думает, до тех пор пока девка не позвала ее.

## VI

Мужское население станицы живет в походах и на кордонах, или постах, как называют казаки. Тот самый Лукашка Урван, про которого говорили старухи в станице, перед вечером стоял на вышке Нижне-Протоцкого поста. Нижне-Протоцкий пост – на самом берегу Терека. Облокотившись на перильцы вышки, он, шурясь, поглядывал то на даль за Терекком, то вниз на товарищей-казаков и изредка заговаривал с ними. Солнце уже приближалось к снеговому хребту, белевшему над курчавыми облаками. Облака, волнуясь у его подошвы, принимали более и более темные тени. В воздухе разливалась вечерняя прозрачность. Из заросшего дикого леса тянуло свежестью, но около поста еще было жарко. Голоса разговаривавших казаков звучнее раздавались и стояли в воздухе. Коричневый быстрый Терек отчетливей отделялся от неподвижных берегов всею своею подвигающеюся массой. Он начинал сбывать, и кое-где мокрый песок бурел на берегах и на отмелях. Прямо против кордона, на том берегу, все было пусто; только низкие бесконечные и пустынные камыши тянулись до самых гор. Немного в стороне виднелись на низком берегу глиняные дома, плоские крыши и воронкообразные трубы чеченского аула. Зоркие глаза

казака, стоявшего на вышке, следили в вечернем дыму мирного аула за движущимися фигурами издали видневшихся чеченок в синих и красных одеждах.

Несмотря на то, что казаки каждый час ожидали переправы и нападения абреков[6 - Абреком называется немирной чеченец, с целью воровства или грабежа переправившийся на русскую сторону Терека. (Прим. Л.Н. Толстого.)] с татарской стороны, особенно в мае месяце, когда лес по Тереку так густ, что пешему трудно пролезть через него, а река так мелка, что кое-где можно переезжать ее вброд, и несмотря на то, что дня два тому назад прибежал[7 - Прибежал - значит на казачьем наречье - приезжал верхом. (Прим. Л.Н. Толстого.)] от полкового командира казак с цидулкой,[8 - Цидулой называется циркуляр, рассылаемый по постам. (Прим. Л.Н. Толстого.)] в которой значилось, что, по полученным через лазутчиков сведениям, партия в восемь человек намерена переправиться через Терек, и потому предписывается наблюдать особую осторожность, - на кордоне не соблюдалось особенной осторожности. Казаки, как дома, без оседланных лошадей, без оружия, занимались кто рыбной ловлей, кто пьянством, кто охотой. Только лошадь дежурного оседланная ходила в треноге по тернам около леса, и только часовой казак был в черкеске, ружье и шашке. Урядник, высокий худощавый казак, с чрезвычайно длинной спиной и маленькими ногами и руками, в одном расстегнутом бешмете, сидел на завалине избы и с выражением начальнической лени и скуки, закрыв глаза, переваливал голову с руки на руку. Пожилой казак с широкою седоватою черною бородой, в одной подпоясанной черным ремнем рубахе, лежал у самой воды и лениво смотрел на однообразно бурливший и заворачивающий Терек. Другие, также измученные жаром, полураздетые, кто полоскал белье в Тереке, кто вязал уздечку, кто лежал на земле, мурлыкая песню, на горячем песке берега. Один из казаков с худым и черно-загорелым лицом, видимо мертвецки пьяный, лежал навзничь у одной из стен избы, часа два тому назад бывшей в тени, но на которую теперь прямо падали жгучие косые лучи.

Лукашка, стоявший на вышке, был высокий, красивый малый лет двадцати, очень похожий на мать. Лицо и все сложение его, несмотря на угловатость молодости, выражали большую физическую и нравственную силу. Несмотря на то, что он недавно был собран в строевые, по широкому выражению его лица и спокойной уверенности позы видно было, что он уже успел принять свойственную казакам и вообще людям, постоянно носящим оружие, воинственную и несколько гордую осанку, что он казак и знает себе цену не ниже настоящей. Широкая черкеска была кое-где порвана, шапка была заломлена назад по-чеченски, ноговицы спущены ниже колен. Одежда его была

небогатая, но она сидела на нем с тою особою казацкою щеголеватостью, которая состоит в подражании чеченским джигитам. На настоящем джигите все всегда широко, оборванно, небрежно; одно оружие богато. Но надето, подпоясано и пригнуто это оборванное платье и оружие одним известным образом, который дается не каждому и который сразу бросается в глаза казаку или горцу. Лукашка имел этот вид джигита. Заложив руки за шашку и щуря глаза, он все вглядывался в дальний аул. Порознь черты лица его были нехороши, но, взглянув сразу на его статное сложение и чернобровое умное лицо, всякий невольно сказал бы: «Молодец малый!»

– Баб-то, баб-то в ауле что высыпало! – сказал он резким голосом, лениво раскрывая яркие белые зубы и обращаясь ни к кому в особенности.

Назарка, лежавший внизу, тотчас же торопливо поднял голову и заметил:

– За водой, должно, идут.

– Из ружья бы пугнуть, – сказал Лукашка, посмеиваясь, – то-то бы переполошились!

– Не донесет.

– Вона! Мое через перенесет. Вот дай срок, их праздник будет, пойду к Гирейхану в гости, бузу[9 - Татарское пиво из пшена. (Прим. Л.Н. Толстого.)] пить, – сказал Лукашка, сердито отмахиваясь от липнувших к нему комаров.

Шорох в чаще обратил внимание казаков. Пестрый легавый ублюдок, отыскивая след и усиленно махая облезлым хвостом, подбегал к кордону. Лукашка узнал собаку соседа-охотника, дяди Ерошки, и вслед за ней разглядел в чаще подвигавшуюся фигуру самого охотника.

Дядя Ерошка был огромного роста казак, с седою как лунь широкою бородой и такими широкими плечами и грудью, что в лесу, где не с кем было сравнить его, он казался невысоким: так соразмерны были все его сильные члены. На нем был оборванный подоткнутый зипун, на ногах обвязанные веревочками по онучам оленьи поршни[10 - Обувь из невыделанной кожи, надеваемая только размоченная. (Прим. Л.Н. Толстого.)] и растрепанная белая шапчонка. За спиной он нес чрез одно плечо кобылку[11 - Орудие для того, чтоб подкрадываться под

фазанов. (Прим. Л.Н. Толстого.)] и мешок с курочкой и кобчиком для приманки ястреба; чрез другое плечо он нес на ремне дикую убитую кошку; на спине за поясом заткнуты были мешочек с пулями, порохом и хлебом, конский хвост, чтоб отмахиваться от комаров, большой кинжал с прорванными ножами, испачканными старою кровью, и два убитые фазана. Взглянув на кордон, он остановился.

– Гей, Лям! – крикнул он на собаку таким залиvistым басом, что далеко в лесу отозвалось эхо, и, перекинув на плечо огромное пистонное ружье, называемое у казаков флинттой, приподнял шапку.

– Здорово дневали, добрые люди! Гей! – обратился он к казакам тем же сильным и веселым голосом, без всякого усилия, но так громко, как будто кричал кому-нибудь на другую сторону реки.

– Здорово, дядя! Здорово! – весело отозвались с разных сторон молодые голоса казаков.

– Что видали? Сказывай! – прокричал дядя Ерошка, отирая рукавом черкески пот с красного широкого лица.

– Слышь, дядя! Какой ястреб во тут на чинаре живет! Как вечер, так и вьется, – сказал Назарка, подмигивая глазом и подергивая плечом и ногою.

– Ну, ты! – недоверчиво сказал старик.

– Право, дядя, ты посиди,[12 - Посидеть – значит караулить зверя. (Прим. Л.Н. Толстого.)] – подтвердил Назарка, посмеиваясь.

Казаки засмеялись.

Шутник не видал никакого ястреба; но у молодых казаков на кордоне давно вошло в обычай дразнить и обманывать дядю Ерошку всякий раз, как он приходил к ним.

– Э, дурак, только брехать! – проговорил Лукашка с вышки на Назарку.

Назарка тотчас же замолк.

– Надо посидеть. Посижу, – отозвался старик к великому удовольствию всех казаков. – А свиной видали?

– Легко ли? Свиной смотреть! – сказал урядник, очень довольный случаю развлечься, переваливаясь и обеими руками почесывая свою длинную спину. – Тут абреков ловить, а не свиной, надо. Ты ничего не слыхал, дядя, а? – прибавил он, без причины щурясь и открывая белые сплошные зубы.

– Абреков-то? – проговорил старик. – Не, не слыхал. А что, чихирь есть? Дай испить, добрый человек. Измаялся, право. Я тебе, вот дай срок, свежинки принесу, право, принесу. Поднеси, – прибавил он.

– Ты что ж, посидеть, что ли, хочешь? – спросил урядник, как будто не расслышав, что сказал тот.

– Хотел ночку посидеть, – отвечал дядя Ерошка, – може, к празднику и даст бог, замордую что; тогда и тебе дам, право!

– Дядя! Ау! Дядя! – резко крикнул сверху Лука, обращая на себя внимание, и все казаки оглянулись на Лукашку. – Ты к верхнему протоку сходи, там табун важный ходит. Я не вру. Пра! Намедни наш казак одного стрелил. Правду говорю, – прибавил он, поправляя за спиной винтовку и таким голосом, что видно было, что он не смеется.

– Э, Лукашка Урван здесь! – сказал старик, взглядывая кверху. – Кое место стрелил?

– А ты и не видал! Маленький, видно, – сказал Лукашка. – У самой у канавы, дядя, – прибавил он серьезно, встряхивая головой. – Шли мы так-то по канаве, как он затрещит, а у меня ружье в чехле было, Иляска как лопнет...[13 - Лопнет – выстрелит на казачьем языке. (Прим. Л.Н. Толстого.)] Да я тебе покажу, дядя, кое место, – недалече. Вот дай срок. Я, брат, все его дорожки знаю. Дядя Мосев! – прибавил он решительно и почти повелительно уряднику, – пора сменять! – и, подобрав ружье, не дожидаясь приказания, стал сходить с вышки.

– Сходи! – сказал уже после урядник, оглядываясь вокруг себя. – Твои часы, что ли, Гурка? Иди! И то, ловок стал Лукашка твой, – прибавил урядник, обращаясь к старику. – Все, как ты, ходит, дома не посидит; намедни убил одного.

## VII

Солнце уже скрылось, и ночные тени быстро надвигались со стороны леса. Казаки кончили свои занятия около кордона и собирались к ужину в избу. Только старик, все еще ожидая ястреба и подергивая привязанного за ногу кобчика, оставался под чинарой. Ястреб сидел на дереве, но не спускался на курочку. Лукашка неторопливо улаживал в самой чаще тернов, на фазаньей тропке, петли для ловли фазанов и пел одну песню за другою. Несмотря на высокий рост и большие руки, видно было, что всякая работа, крупная и мелкая, спорилась в руках Лукашки.

– Гей, Лука! – слышался ему недалеко из чащи пронзительно-звучный голос Назарки. – Казаки ужинать пошли.

Назарка с живым фазаном под мышкой, продираясь через терны, вылез на тропинку.

– О! – сказал Лукашка, замолкая. – Где петуха-то взял? Должно, мой пружок...[14  
– Силки, которые ставят для ловли фазанов. (Прим. Л.Н. Толстого.)]

Назарка был одних лет с Лукашкой и тоже с весны только поступил в строевые.

Он был малый некрасивый, худенький, мозглявый, с визгливым голосом, который так и звенел в ушах. Они были соседи и товарищи с Лукою. Лукашка сидел по-татарски на траве и улаживал петли.

– Не знаю чей. Должно, твой.

– За ямой, что ль, у чинары? Мой и есть, вчера постановил.

Лукашка встал и посмотрел пойманного фазана. Погладив рукой по темно-сизой голове, которую петух испуганно вытягивал, закатывая глаза, он взял его в руки.

– Нынче пилав сделаем; ты поди зарежь да ощипи.

– Что ж, сами съедим или уряднику отдать?

– Будет с него.

– Боюсь я их резать, – сказал Назарка.

– Давай сюда.

Лукашка достал ножичек из-под кинжала и быстро дернул им. Петух встрепенулся, но не успел расправить крылья, как уже окровавленная голова загнулась и забилась.

– Вот так-то делай! – проговорил Лукашка, бросая петуха. – Жирный пилав будет.

Назарка вздрогнул, глядя на петуха.

– А слышь, Лука, опять нас в секрет пошлет черт-то, – прибавил он, поднимая фазана и под чертом разумея урядника. – Фомушкина за чихирем услал, его черед был. Котору ночь ходим! Только на нас и выезжает.

Лукашка, посвистывая, пошел по кордону.

– Захвати бечевку-то! – крикнул он.

Назарка повиновался.

– Я ему нынче скажу, право, скажу, – продолжал Назарка. – Скажем: не пойдем, измучились, да и все тут. Скажи, право, он тебя послушает. А то что это!

– Во нашел о чем толковать! – сказал Лукашка, видимо думая о другом, – дряни-то! Добро бы из станицы на ночь выгонял, обидно бы было. Там погуляешь, а тут что? Что на кордоне, что в секрете, все одно. Эка ты...

– А в станицу придешь?

– На праздник пойду.

– Сказывал Гурка, твоя Дунайка с Фомушкиным гуляет, – вдруг сказал Назарка.

– А черт с ней! – отвечал Лукашка, оскаливая сплошные белые зубы, но не смеясь. – Разве я другой не найду.

– Как сказывал Гурка-то: пришел, говорит, он к ней, а мужа нет. Фомушкин сидит, пирог ест. Он посидел, да и пошел под окно; слышит, она и говорит: «Ушел черт-то. Что, родной, пирожка не ешь? А спать, говорит, домой не ходи». А он и говорит из-под окна: «Славно».

– Врешь!

– Право, ей-богу.

Лукашка помолчал.

– А другого нашла, черт с ней: девок мало ли? Она мне и то постыла.

– Вот ты черт какой! – сказал Назарка. – Ты бы к Марьянке хорунжиной подъехал. Что она ни с кем не гуляет?

Лукашка нахмурился.

– Что Марьянка! все одно! – сказал он.

– Да вот сунься-ка...

– А ты что думаешь? Да мало ли их по станице?

И Лукашка опять засвистал и пошел к кордону, обрывая листья с сучьев. Проходя по кустам, он вдруг остановился, заметив гладкое деревцо, вынул из-под кинжала ножик и вырезал.

- То-то шомпол будет, - сказал он, свистя в воздухе прутом.

Казачи сидели за ужином в мазаных сенях кордона, на земляном полу, вокруг низкого татарского столика, когда речь зашла о чередке в секрет.

- Кому ж нынче идти? - крикнул один из казаков, обращаясь к уряднику в отворенную дверь хаты.

- Да кому идти? - отозвался урядник. - Дядя Бурлак ходил, Фомушкин ходил, - сказал он не совсем уверенно. - Идите вы, что ли? Ты да Назар, - обратился он к Луке, - да Ергушов пойдет; авось проспался.

- Ты-то не просыпаешься, так ему как же! - сказал Назарка вполголоса.

Казачи засмеялись.

Ергушов был тот самый казак, который пьяный спал у избы. Он только что, протирая глаза, ввалился в сени.

Лукашка в это время, встав, справлял ружье.

- Да скорей идите; поужинайте и идите, - сказал урядник. И, не ожидая выражения согласия, урядник затворил дверь, видимо мало надеясь на послушание казаков. - Кабы не приказано было, я бы не послал, а то, гляди, сотник набежит. И то, говорят, восемь человек абреков переправилось.

- Что ж, идти надо, - говорил Ергушов, - порядок! Нельзя, время такое. Я говорю, идти надо.

Лукашка между тем, держа обеими руками передо ртом большой кусок фазана и поглядывая то на урядника, то на Назарку, казалось, был совершенно равнодушен к тому, что происходило, и смеялся над обоими. Казачи еще не

успели убраться в секрет, когда дядя Ерошка, до ночи напрасно просидевший под чинарой, вошел в темные сени.

– Ну, ребята, – загудел в низких сенях его бас, покрывавший все голоса, – вот и я с вами пойду. Вы на чеченцев, а я на свиней сидеть буду.

## VIII

Было уже совсем темно, когда дядя Ерошка и трое казаков с кордона, в бурках и с ружьями за плечами, пошли вдоль по Тереку на место, назначенное для секрета. Назарка вовсе не хотел идти, но Лука крикнул на него, и они живо собрались. Пройдя молча несколько шагов, казаки свернули с канавы и по чуть заметной тропинке в камышах подошли к Тереку. У берега лежало толстое черное бревно, выкинутое водой, и камыш вокруг бревна был свежо примят.

– Здесь, что ль, сидеть? – сказал Назарка.

– А то чего ж! – сказал Лукашка, – садись здесь, а я живо приду, только дяде укажу.

– Самое тут хорошее место: нас не видать, а нам видно, – сказал Ергушов, – тут и сидеть; самое первое место.

Назарка с Ергушовым, разостлав бурки, расположились за бревном, а Лукашка пошел дальше с дядей Ерошкой.

– Вот тут недалече, дядя, – сказал Лукашка, неслышно ступая вперед старика, – я укажу, где прошли. Я, брат, один знаю.

– Укажь; ты молодец, Урван, – так же шепотом отвечал старик.

Пройдя несколько шагов, Лукашка остановился, нагнулся над лужицей и свистнул.

– Вот где пить прошли, видишь, что ль? – чуть слышно сказал он, указывая на свежий след.

– Спаси тебя Христос, – отвечал старик, – карга за канавой, в котлубани[15 - Котлубанью называется яма, иногда просто лужа, в которой мажется кабан, натирая себе «калган», толстую хрящеватую шкуру. (Прим. Л.Н. Толстого.)] будет, – прибавил он. – Я посижу, а ты ступай.

Лукашка вскинул выше бурку и один пошел назад по берегу, быстро поглядывая то налево – на стену камышей, то на Терек, бурливший подле под берегом. «Ведь тоже караулит или ползет где-нибудь», – подумал он про чеченца. Вдруг сильный шорох и плесканье в воде заставили его вздрогнуть и схватиться за винтовку. Из-под берега, отдуваясь, выскочил кабан, и черная фигура, отделившись на мгновение от глянцевитой поверхности воды, скрылась в камышах. Лука быстро выхватил ружье, приложился, но не успел выстрелить: кабан уже скрылся в чаще. Плюнув с досады, он пошел дальше. Подходя к месту секрета, он снова приостановился и слегка свистнул. Свисток откликнулся, и он подошел к товарищам.

Назарка, свернувшись, уже спал. Ергушов сидел, поджав под себя ноги, и немного посторонился, чтобы дать место Лукашке.

– Как сидеть весело, право, место хорошее, – сказал он. – Проводил?

– Указал, – отвечал Лукашка, расстилая бурку. – А сейчас какого здорового кабана у самой воды стронул. Должно, тот самый! Ты небось слышал, как затрещал?

– Слышал, как затрещал зверь. Я сейчас узнал, что зверь. Так и думаю: Лукашка зверя спугнул, – сказал Ергушов, завертываясь в бурку. – Я теперь засну, – прибавил он, – ты разбуди после петухов; потому, порядок надо. Я засну, поспим; а там ты заснешь, я посижу; так-то.

– Я и спать, спасибо, не хочу, – ответил Лукашка.

Ночь была темная, теплая и безветренная. Только с одной стороны небосклона светились звезды; другая и большая часть неба, от гор, была заволочена одною большою тучей. Черная туча, сливаясь с горами, без ветра, медленно

подвигалась дальше и дальше, резко отделяясь своими изогнутыми краями от глубокого звездного неба. Только впереди казаку виднелся Терек и даль; сзади и с боков его окружала стена камышей. Камыши изредка, как будто без причины, начинали колебаться и шуршать друг о друга. Снизу колеблющиеся махалки казались пушистыми ветвями деревьев на светлом краю неба. У самых ног спереди был берег, под которым бурлил поток. Дальше глянцевиная движущаяся масса коричневой воды однообразно рябила около отмелей и берега. Еще дальше и вода, и берег, и туча – все сливалось в непроницаемый мрак. По поверхности воды тянулись черные тени, которые привычный глаз казака признавал за проносимые сверху коряги. Только изредка зарница, отражаясь в воде, как в черном зеркале, обозначала черту противоположного отлогого берега. Равномерные ночные звуки шуршанья камышин, храпенья казаков, жужжанья комаров и теченья воды прерывались изредка то дальним выстрелом, то бульканьем отвалившегося берега, то всплеском большой рыбы, то треском зверя по дикому, заросшему лесу. Раз сова пролетела вдоль по Тереку, задевая ровно через два взмаха крылом о крыло. Над самую голову казаков она повернула к лесу и, подлетая к дереву, не через раз, а уже с каждым взмахом задевала крылом о крыло и потом долго копошилась, усаживаясь на старой чинаре. При всяком таком неожиданном звуке слух неспавшего казака усиленно напрягался, глаза щурились, и он неторопливо ощупывал винтовку.

Прошла большая часть ночи. Черная туча, протянувшись на запад, из-за своих разорванных краев открыла чистое звездное небо, и перевернутый золотистый рог месяца красно засветился над горами. Стало прохватывать холодом. Назарка проснулся, поговорил и опять заснул. Лукашка соскучился, встал, достал ножик из-под кинжала и начал строгать палочку на шомпол. В голове его бродили мысли о том, как там, в горах, живут чеченцы, как ходят молодцы на эту сторону, как не боятся они казаков и как могут переправиться в другом месте. И он высовывался и глядел вдоль реки, но ничего не было видно. Изредка поглядывая на реку и дальний берег, слабо отделявшийся от воды при робком свете месяца, он уже перестал думать о чеченцах и только ждал времени будить товарищей и идти в станицу. В станице ему представлялась Дунька, его душенька, как называют казаки любовниц, и он с досадой думал о ней. Признаки утра: серебристый туман забелел над водой, и молодые орлы недалеко от него пронзительно засвистали и захлопали крыльями. Наконец вскрик первого петуха донесся далеко из станицы, вслед за тем другой протяжный петушиный крик, на который отозвались другие голоса.

«Пора будить», – подумал Лукашка, кончив шомпол и почувствовав, что глаза его отяжелели. Обернувшись к товарищам, он разглядел, кому какие принадлежали ноги; но вдруг ему показалось, что плеснуло что-то на той стороне Терека, и он еще раз оглянулся на светлеющий горизонт гор под перевернутым серпом, на черту того берега, на Терек и на отчетливо видневшиеся теперь плывущие по нем карчи. Ему показалось, что он движется, а Терек с карчами неподвижен; но это продолжалось только мгновение. Он опять стал вглядываться. Одна большая черная карча с суком особенно обратила его внимание. Как-то странно, не перекачиваясь и не крутясь, плыла эта карча по самой середине. Ему даже показалось, что она плыла не по течению, а перебивала Терек на отмель. Лукашка, вытянув шею, начал пристально следить за ней. Карча подплыла к мели, остановилась и странно зашевелилась. Лукашке замерещилось, что показалась рука из-под карчи. «Вот как абрека один убью!» – подумал он, схватился за ружье, неторопливо, но быстро расставил подсошки, положил на них ружье, неслышно, придерживав, взвел курок и, притаив дыхание, стал целиться, все всматриваясь. «Будить не стану», – думал он. Однако сердце застучало у него в груди так сильно, что он остановился и прислушался. Карча вдруг бултыхнула и снова поплыла, перебивая воду, к нашему берегу. «Не пропустить бы!» – подумал он, и вот, при слабом свете месяца, ему мелькнула татарская голова впереди карчи. Он навел ружьем прямо на голову. Она ему показалась совсем близко, на конце ствола. Он глянул через. «Он и есть, абрек», – подумал он радостно и, вдруг порывисто вскочив на колени, снова повел ружьем, высмотрел цель, которая чуть виднелась на конце длинной винтовки, и, по казачьей, с детства усвоенной привычке проговорив: «Отцу и сыну», – пожал шишечку спуска. Блеснувшая молния на мгновение осветила камыши и воду. Резкий, отрывистый звук выстрела разнесся по реке и где-то далеко перешел в грохот. Карча уже поплыла не поперек реки, а вниз по течению, крутясь и колыхаясь.

– Держи, я говорю! – закричал Ергушов, ощупывая винтовку и приподнимаясь из-за чурбана.

– Молчи, черт! – стиснув зубы, прошептал на него Лука. – Абреки!

– Кого стрелил? – спрашивал Назарка, – кого стрелил, Лукашка?

Лукашка ничего не отвечал. Он заряжал ружье и следил за уплывающей карчой. Неподдалеку остановилась она на отмели, и из-за нее показалось что-то большое, покачиваясь на воде.

– Чего стрелил? Что не сказываешь? – повторяли казаки.

– Абреки! сказывают тебе, – повторил Лука.

– Будет брехать-то! Али так вышло ружье-то?..

– Абрека убил! Вот что стрелил! – проговорил сорвавшимся от волнения голосом Лукашка, вскакивая на ноги. – Человек плыл... – сказал он, указывая на отмель. – Я его убил. Глянь-ка сюда.

– Будет врать-то, – повторял Ергушов, протирая глаза.

– Чего будет? Вот, гляди! Гляди сюда, – сказал Лукашка, схватывая его за плеча и пригибая к себе с такой силой, что Ергушов охнул.

Ергушов посмотрел по тому направлению, куда указывал Лука, и, рассмотрев тело, вдруг переменил тон.

– Эна! Я тебе говорю, другие будут, верно тебе говорю, – сказал он тихо и стал осматривать ружье. – Это передовой плыл; либо уж здесь, либо недалече на той стороне; я тебе верно говорю.

Лукашка распоясался и стал скидывать черкеску.

– Куда ты, дурак? – крикнул Ергушов, – сунься только, ни за что пропадешь, я тебе верно говорю. Коли убил, не уйдет. Дай натруску, порошку подсыпать. У тебя есть? Назар! Ты ступай живо на кордон, да не по берегу ходи: убьют, верно говорю.

– Так я один и пошел! Ступай сам, – сказал сердито Назарка.

Лукашка, сняв черкеску, подошел к берегу.

– Не лазяй, говорят, – проговорил Ергушов, подсыпая порох на полку ружья. – Вишь, не шелохнется, уж я вижу. До утра недалече, дай с кордона прибегут. Ступай, Назар; эка робеешь! Не робей, я говорю.

– Лука, а Лука! – говорил Назарка, – да ты скажи, как убил.

Лука раздумал тотчас же лезть в воду.

– Ступайте на кордон живо, а я посижу. Да казакам велите в разъезд послать. Коли на этой стороне... ловить надо!

– Я говорю, уйдут, – сказал Ергушов, поднимаясь, – ловить надо, верно.

И Ергушов с Назаркой встали и, перекрестившись, пошли к кордону, но не берегом, а ломаясь через терны и пролезая на лесную дорожку.

– Ну, смотри, Лука, не шелохнись, – проговорил Ергушов, – а то тоже здесь срежут тебя. Ты смотри не зевай, я говорю.

– Иди, знаю, – проговорил Лука и, осмотрев ружье, сел опять за чурбан.

Лукашка сидел один, смотрел на отмель и прислушивался, не слышать ли казаков; но до кордона было далеко, а его мучило нетерпенье; он так и думал, что вот уйдут те абреки, которые шли с убитым. Как на кабана, который ушел вечером, досадно было ему на абреков, которые уйдут теперь. Он поглядывал то вокруг себя, то на тот берег, ожидая вот-вот увидеть еще человека, и, приладив подсошки, готов был стрелять. О том, чтобы его убили, ему и в голову не приходило.

## IX

Уже начинало светать. Все чеченское тело, остановившееся и чуть колыхавшееся на отмели, было теперь ясно видно. Вдруг невдалеке от казака затрещал камыш, послышались шаги и зашевелились махалки камыша. Казак взвел на второй взвод и проговорил: «Отцу и сыну». Вслед за щелканьем курка шаги затихли.

– Гей, казаки! Дядю не убей, – слышался спокойный бас, и, раздвигая камыши, дядя Ерошка вплоть подошел к нему.

– Чуть-чуть не убил тебя, ей-богу! – сказал Лукашка.

– Что стрелил? – спросил старик.

Звучный голос старика, раздавшийся в лесу и вниз по реке, вдруг уничтожил ночную тишину и таинственность, окружавшую казака. Как будто вдруг светлей и видней стало.

– Ты вот ничего не видал, дядя, а я убил зверя, – сказал Лукашка, спуская курок и вставая неестественно спокойно.

Старик, уже не спуская с глаз, смотрел на ясно теперь белевшую спину, около которой рябил Терек.

– С карчой на спине плыл. Я его высмотрел, да как... Глянь-ко сюда! Во! В портках синих, ружье никак... Видишь, что ль? – говорил Лука.

– Чего не видать! – с сердцем сказал старик, и что-то серьезное и строгое выразилось в лице старика. – Джигита убил, – сказал он как будто с сожалением.

– Сидел так-то я, гляжу, что чернеет с той стороны? Я еще там его высмотрел, точно человек подошел и упал. Что за диво! А карча, здоровая карча плывет, да не вдоль плывет, а поперек перебивает. Глядь, а из-под ней голова показывает. Что за чудо? Повел я, из камыша-то мне и не видно; привстал, а он услышал, верно, бестия, да на отмель и выполз, оглядывает. Врешь, думаю, не уйдешь. Только выполз, оглядывает. (Ох, глотку завалило чем-то!) Я ружье изготовил, не шелохнусь, выжидаю. Постоял, постоял, опять и поплыл, да как наплыл на месяц-то, так аж спина видна. «Отцу и сыну и святому духу». Глядь из-за дыма, а он и барахтается. Застонал али почудилось мне? Ну, слава тебе, господи, думаю, убил! А как на отмель вынесло, все наружу стало, хочет встать, да и нет силы-то. Побился, побился и лег. Чисто, все видать. Вишь, не шелохнется, должно издох. Казаки на кордон побежали, как бы другие не ушли!

– Так и поймал! – сказал старик. – Далече, брат, теперь... – И он опять печально покачал головою. В это время пешие и конные казаки с громким говором и треском сучьев слышались по берегу.

– Ведут каюк, что ли? – крикнул Лука.

– Молодец, Лука! Тащи на берег! – кричал один из казаков.

Лукашка, не дожидаясь каюка, стал раздеваться, не спуская глаз с добычи.

– погоди, каюк Назарка ведет, – кричал урядник.

– Дурак! Живой, может! Притворился! Кинжал возьми, – прокричал другой казак.

– Толкуй! – крикнул Лука, скидывая портки. Он живо разделся, перекрестился и, подпрыгнув, со всплеском вскочил в воду, обмакнулся, и, вразмашку кидая белыми руками и высоко поднимая спину из воды и отдувая поперек течения, стал перебивать Терек к отмели. Толпа казаков звонко, в несколько голосов, говорила на берегу. Трое конных поехали в объезд. Каюк показался из-за поворота. Лукашка поднялся на отмели, нагнулся над телом, ворохнул его раза два. «Как есть мертвый!» – прокричал оттуда резкий голос Луки.

Чеченец был убит в голову. На нем были синие портки, рубаха, черкеска, ружье и кинжал, привязанные на спину. Сверх всего был привязан большой сук, который и обманул сначала Лукашку.

– Вот так сазан попался! – сказал один из собравшихся кружком казаков, в то время как вытащенное из каюка чеченское тело, приминая траву, легло на берег.

– Да и желтый же какой! – сказал другой.

– Где искать поехали наши? Они небось все на той стороне. Кабы не передовой был, так не так бы плыл. Одному зачем плыть? – сказал третий.

– То-то ловкой должно, вперед всех выискался. Самый, видно, джигит! – насмешливо сказал Лукашка, выжимая мокрое платье у берега и беспрестанно

вздрагивая. – Борода крашена, подстрижена.

– И зипун в мешочке на спину приладил. Оно и плыть ему легче от нее, – сказал кто-то.

– Слышь, Лукашка! – сказал урядник, державший в руках кинжал и ружье, снятые с убитого. – Ты кинжал себе возьми и зипун возьми, а за ружье, приди, я тебе три монета дам. Вишь, оно и с свищом, – прибавил он, пуская дух в дуло, – так мне на память лестно.

Лукашка ничего не ответил, ему, видимо, досадно было это попрошайничество; но он знал, что этого не миновать.

– Вишь, черт какой! – сказал он, хмурясь и бросая наземь чеченский зипун, – хошь бы зипун хороший был, а то байгуш.

– Годится за дровами ходить, – сказал другой казак.

– Мосев! я домой схожу, – сказал Лукашка, видимо уж забыв свою досаду и желая употребить в пользу подарок начальнику.

– Иди, что ж!

– Оттащи его за кордон, ребята, – обратился урядник к казакам, все осматривая ружье. – Да шалашик от солнца над ним сделать надо. Може, из гор выкупать будут.

– Еще не жарко, – сказал кто-то.

– А чакалка изорвет? Это разве хорошо? – заметил один из казаков.

– Караул поставим, а то выкупать придут: нехорошо, коли порвет.

– Ну, Лукашка, как хочешь: ведро ребятам поставишь, – прибавил урядник весело.

– Уж как водится, – подхватили казаки. – Вишь, счастье бог дал: ничего не видамши, абрека убил.

– Покупай кинжал и зипун. Давай денег больше. И портки продам. Бог с тобой, – говорил Лука. – Мне не налезут: поджарый черт был.

Один казак купил зипун за монет. За кинжал дал другой два ведра.

– Пей, ребята, ведро ставлю, – сказал Лука, – сам из станицы привезу.

– А портки девкам на платки изрежь, – сказал Назарка.

Казаки загрохотали.

– Будет вам смеяться, – повторил урядник, – оттащи тело-то. Что пакость такую у избы положили...

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

«Собор Парижской богородицы» (франц.).

2

Волков. (Прим. Л.Н. Толстого.)

3

Наметке. (Прим. Л.Н. Толстого.)

4

Чувяки – обувь. (Прим. Л.Н. Толстого.)

5

Избушкой у казаков называется низенький холодный срубец, где кипятится и сберегается молочный скоп. (Прим. Л.Н. Толстого.)

6

Абреком называется немирной чеченец, с целью воровства или грабежа переправившийся на русскую сторону Терека. (Прим. Л.Н. Толстого.)

7

Прибегал – значит на казачьем наречье – приезжал верхом. (Прим. Л.Н. Толстого.)

8

Цидулой называется циркуляр, рассылаемый по постам. (Прим. Л.Н. Толстого.)

9

Татарское пиво из пшена. (Прим. Л.Н. Толстого.)

10

Обувь из невыделанной кожи, надеваемая только размоченная. (Прим. Л.Н. Толстого.)

11

Орудие для того, чтоб подкрадываться под фазанов. (Прим. Л.Н. Толстого.)

12

Посидеть – значит караулить зверя. (Прим. Л.Н. Толстого.)

13

Лопнет – выстрелит на казачьем языке. (Прим. Л.Н. Толстого.)

14

Силки, которые ставят для ловли фазанов. (Прим. Л.Н. Толстого.)

15

Котлубанью называется яма, иногда просто лужа, в которой мажется кабан, натирая себе «калган», толстую хрящеватую шкуру. (Прим. Л.Н. Толстого.)

----

Купить: <https://tn.knigapoisk.com/lev-tolstoy/kazaki>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)